

ГОРОД КРАСНОГВАРДЕЙСК*

Н. П. СОКОЛОВА (МОСКАЛЕЦ),
1933 г. р., жительница г. Красногвардейска

ВЕРА БЫЛА НАШЕЙ ОПОРОЙ

Родилась я в Ленинграде, на Песках, в рабочей семье. Отец Павел Константинович работал формовщиком на Кировском заводе, дед Ульян Алексеевич был печником, а мама Вера Николаевна и бабушка Екатерина Филипповна — прачками. Была у меня и младшая сестра Валя. Я часто болела, и родители решили обменять наше жилье на пригород.

Мы поселились в Гатчине — уютном, утопающем в зелени городке с великолепными парками и царским дворцом-музеем. Папа ездил на работу в Ленинград, а мама устроилась управдомом. Довоенное детство среди окружающей красоты вспоминается счастливым сном.

Оно прервалось страшным июньским днем 41-го года, когда родители прибежали домой с криком: — Война! Во дворе собрались соседи, обсуждая, как быть дальше. Вечером все принялись рыть во дворе окоп, укрепляя его досками и бревнами.

Совсем скоро над Гатчиной появились немецкие самолеты и стали сбрасывать бомбы. Грохот разрывов, свист бомб, крики раненых...

Однажды отец вернулся с завода поздней ночью и велел срочно собирать вещи: эвакуируемся с заводом на Урал. От жакта нам выделили лошадь, мы погрузили на телегу свои пожитки и двинулись в путь. Он оказался очень недолгим: в Александровке нас остановил патруль. Немцы уже взяли Пулковские высоты и обстреливали дорогу.

Время шло к вечеру. Мы заняли крайний свободный дом. Все были настолько уставшие, что мама постелила нам прямо на полу в правом углу. Не успели уснуть, как началась бомбежка. Поблизости рвались бомбы, и мы молились: — Господи, только пронеси мимо!

Утром мы увидели, что над нами висела икона Николая Чудотворца. Мама сняла эту иконку, и она странствовала с нами по всем дорогам войны.

Через поселок шли и шли наши отступающие бойцы — грязные, голодные. Снова началась бомбежка, и мы спрятались в окопчике на огороде. Когда все стихло, послышался стрекот мотоциклов и показались немцы. Они открыли стрельбу по окнам. С ужасом вспоминаю первого увиденного фашиста. Огромный, в очках и каске, он тыкал дулом автомата в оконце нашего укрытия и орал: «Юде, партизан!»

Мы вышли с поднятыми руками. Со всех сторон вели русских. Появился офицер и стал спрашивать, кто мы, откуда, и велел расходиться по домам.

Мы возвращались в Гатчину той же дорогой, но она была совсем не похожа на ту, которой мы ехали три дня назад. На шоссе валялись деревья, срезанные

* С 1944 г. — г. Гатчина.

снарядами, а на обочинах лежали необрунные трупы наших бойцов. Кто сидел мертвый у дерева, у иных из груди торчал штык. Все были босы, а из вывернутых карманов брюк сыпалась махорка...

Над Гатчиной стоял смрадный дым: горели дома, сараи, деревья. По улицам носились мотоциклисты и вышагивали жандармы с бляхами на шее. Оккупация... Сколько горя вместило в себя это слово! Но оказалось, что это было еще не самое страшное. При всех лишениях, когда жизнь шла по установленному оккупантами «новому порядку», русские люди, находясь на своей земле, еще могли в какой-то степени внутренне чувствовать себя свободными. Хотя что это была за «свобода»!

Всем мужчинам с 17 часов до 7 утра предписывалось находиться в установленном для ночлега месте. По домам ходил патруль с фонарем и, не дай бог, если кого-то обнаружит: расстрел на месте!

А за одного убитого немца расстреливали 10 русских. На Красной улице, возле комендатуры, установили виселицу. Редкий день не висели на ней люди с фанерками на шее и надписями: «Партизан», «Вор». Вешали прилюдно — жителей специально сгоняли смотреть на казнь. Еще одну виселицу устроили около дворца между большими липами, на которых, как и теперь, гнездились вороны...

В городе появились службы «СС» и «СД», тюрьма на Красной, немецкий госпиталь, детдом на Госпитальной, лагерь советских военнопленных на проспекте 25-го Октября. В бывших Красных казармах расположились части Гатчинского гарнизона.

Каждое утро пленных водили под конвоем разбирать на дрова разрушенные строения. Среди охранников были и русские полицаи. Пленные были настолько истощены, что часто падали — их поднимали дубинками.

В городе открылись казино и кино для немцев, но выпала неожиданная радость и для нас: распахнулись двери храма Петра и Павла. Мы все ходили на службы, молились и слушали батюшку. Он говорил о мире, о любви людей друг к другу. А когда начинался налет, мы прятались в подвале собора. В ту лихую годину церковь была нашей опорой, верой и надеждой.

Жителей тоже гоняли на работу. Каждый работающий получал раз в неделю кирпичик хлеба из отрубей пополам с опилками. Мама сразу делила его на семь частей, на каждого в день приходились крохи. Мы, дети, с раннего утра выходили на промысел: рылись в помойках у немецких казарм, подбирали овес на путях, когда там разгружались вагоны с фуражом, искали в поле мерзлую картошку. Когда мама варила ее, то из-за противного гнилого запаха приходилось открывать дверь, но есть — ели.

Помню такой случай. Идем мы с Валею по Кирочной улице и видим костер у дороги: четверо немецких солдат что-то жарят. Доносится дурманящий запах жареного мяса. Подходим ближе и видим, что на вертеле жарится туша козы. А на дороге валяются голова, шкура, требуха. Уловив наш голодный взгляд, один из солдат показал рукой на отходы — мол, можно взять. У нас с собой был по маленькому ведерышку. Сообразили быстро: Вале в подол положили требуху, а мне — копыта и голову. Когда пришли домой, мама глазам своим не поверила: мясо! Валино платье пришлось долго отстирывать золой, но все равно это была редкая удача.

На пр. 25-го Октября стояла немецкая часть, при ней — кухня. Обед у немцев начинался в 12 часов, но мы приходили к 10, чтобы занять очередь поближе к двери. Однажды я опоздала и оказалась в очереди последней, ни на что уже не

надеясь. Но проходивший мимо немец заметил меня и проговорил: «Киндер, ком!»

Он привел меня в сарай, где находились овчарки. Я оцепенела от страха, овчарки смотрели на меня, но не трогали. А солдат взял мое голубое ведро, налил в него перлового супа и добавил две полоски вареной свиной шкуры. «Ком!» — донесся до меня, будто с потолка, его голос.

Мы вышли на улицу.

— Муттер есть? — спросил немец.

Я кивнула головой и тихо пошла к дому. С тех пор прошла целая жизнь, но я всегда помню этого человека, пожалевшего голодную девочку.

Пленным приходилось еще хуже, чем нам. Мама познакомилась с медсестрой Тосей из лагерного лазарета, и через нее женщины стали передавать пленным кое-какую еду. В лагере находился и русский врач Иван Иванович Фролов. На него пало подозрение в смерти немецкого офицера, и он решил бежать. Спросил у мамы, как связаться с партизанами. Мама назвала фамилии двоих знакомых, которые, по ее мнению, были связаны с партизанами. Один из них, Константин Мухин, встретился с Фроловым через три дня. После этой встречи врач попросил маму по возможности собрать на дорогу еды. В течение нескольких дней мама сушила сухари и складывала их в рюкзак.

Осенним днем сорок второго года Тося забежала к нам и шепнула, что Фролов с товарищами уходит. Рюкзак с припасами надо спрятать в окопе на кладбище. Тогда же, среди бела дня, мама с Тосей на глазах у всех пронесли рюкзак на кладбище. Когда стемнело, Фролов подошел к ним и сказал маме: «Спасибо, Вы настоящая русская женщина!»

Кажется, что особенного сделала моя мама? Но тогда, я думаю, это был настоящий подвиг: надо понять, как она рисковала! Да и собрать хлеб, отрывая от нас с сестрой последний кусок, было ох как непросто...

Тося тоже ушла из города и подарила мне на память маленькие кирзовые сапожки, я долго их носила.

Судьба как-то берегла нас до 1944 года. Началось наступление Красной Армии, в небе появились советские самолеты. В январе Гатчина снова горела: горели жилые дома, горел дворец... Мы надеялись на скорое освобождение, но 27 января немцы спешно погрузили жителей в товарные вагоны и повезли на запад. В начале состава — платформы, груженные шпалами и мешками, потом мы, за нами — пассажирские вагоны с немецкими офицерами и снова платформы с песком. Так, под нашим прикрытием, немцы бежали на запад.

В Риге был наш первый лагерь — в еврейском гетто, рядом с кладбищем. Перед нами евреев казнили...

Спустя какое-то время нас снова погрузили в эшелон и доставили в Германию, в г. Ганновер. Лагерь находился на окраине, возле ржаного поля и ветряных мельниц и был огорожен колючей проволокой. Прежде, чем впустить в бараки, нас подвергли санобработке. Немцы стояли в два ряда с фонарями, и когда мы нагишом проходили между ними, мазали нас какой-то коричневой жидкостью с резким запахом, от которой долго слезились глаза. Потом нам швырнули прожаренную одежду и отвели в бараки. Двухъярусные нары, заплесневелые стены, затхлый запах прелого сена в тощих матрацах, холод и тьма. Я помню, как мы все съежились, попав в эту обстановку, казалось, что съежились и наши души...

Потянулись тоскливые однообразные дни.

По утрам взрослых под конвоем гнали на работу, вечером приводили обратно и долго пересчитывали. Кормили настолько плохо, что однажды выдали варено с толстыми белыми червями. Несмотря на голод, мы вылили «ужин» возле кухни.

Через некоторое время нас погрузили в фургоны, набив их людьми до отказа, и повезли в Берлин (Мариендорф, Курфюрстенштрассе, 25). Высадили около угрюмого пятиэтажного дома с аркой, где размещался пропускной пункт. Там стояли охранники с автоматами. Двор с каштанами был оцеплен колючей проволокой. Во дворе — траншея. В ней мы прятались во время воздушных налетов.

Узников расселили по всем этажам, по 20 человек в комнате. Мы оказались на последнем этаже, на двухъярусных нарах, кишевших клопами. Спали вповалку. Утром всех взрослых выгоняли на работу. Наши родители работали на железной дороге. Отец с бабушкой грузили шпалы, а мама мыла вагоны. По ночам я слышала, как мама шепотом рассказывала отцу о наших военнопленных. Они разбирали завалы на путях после бомбежек, были сильно истощены, и мама потихоньку передавала им что-либо из еды.

Кормили нас раз в сутки: похлебка из капусты-кольраби, гуцца черного кофе-эраца и пайка хлеба. Чтобы не умереть с голоду, дети ходили в город побираться. То найдем на помойке картофельных очистков, то кто-нибудь даст кусочек хлеба, а то и вовсе вернемся ни с чем.

Однажды мы с Валею помогли пожилой немке донести до дома тяжелую сумку. Она велела нам подождать и вскоре кинула из окна кулек с сухарями.

В другой раз я шла по мосту через Шпрее, охраняемому с обеих сторон полицейскими. Навстречу шла дородная фрау. Она в упор смотрела на полицейского и вроде бы не обращала на меня никакого внимания, но когда мы поравнялись, вложила в мою ладонь куриное яйцо. Я принесла его в лагерь. Женщина-переводчица дала стаканчик овса. Мама смолотила его на ручных жерновах и испекла лепешки. Какие они были вкусные!

Рядом с лагерем располагалась пекарня, при ней — магазин, в котором местные жители отоваривали свои брот-марки.

Как-то мы с Валею стояли на тротуаре, вдыхая запах свежее выпеченного хлеба. Идет мимо мальчик — наш ровесник или чуть постарше. Прошел, потом оглянулся и остановился. Вынул из кармана карточку (немцам продукты в войну тоже отпускались по карточкам), оторвал талончик на 50-граммовую булочку, молча подошел к нам и положил его к моей ноге. Пошел было дальше, но вернулся и бросил пфенниг. Мы только тогда опомнились и крикнули вслед ему «danke». Я даже помню, как он был одет: пиджачок в серую клеточку, брюки-гольф и сандалеты. Жив ли он еще? И помнит ли войну и то, как однажды захотел помочь русским девочкам? Вероятно, помнит и рассказывает об этом своим детям. Дай Бог ему здоровья!

А тогда мы с Валею пошли в булочную и подали продавщице талончик и деньги. Она, конечно, поняла, кто мы, и дала целую четвертинку хлеба. Вот это была удача, да еще какая, не забытая и через 60 лет!

Так мы прожили до декабря 1944 года. А в декабре маму забрали в гестапо: кто-то донес о ее связи с военнопленными. Следом арестовали отца и бабушку. Мы остались с бабушкой, пока с ним не случилась беда. Он работал на железной дороге — укладывал шпалы — и не заметил маневрового паровоза. Конвойный стегнул его нагайкой, дед упал и попал под паровоз.

Теперь мы с Валею остались вдвоем. Жили подаяниями. К счастью, в феврале к нам вернулась бабушка, а в марте — папа.

Наши войска уже подходили к Берлину. Артиллерийская канонада не прекращалась ни днем, ни ночью. Из-за самолетов не было видно неба. Немцы установили на крыше пулеметы. От прожекторов ночью было светло как днем.

Нас совсем перестали кормить. Прошел слух, что лагерь собираются взрывать. Мужчины стали вооружаться ножами, молотками, кусками железа.

Но 28 апреля к лагерю подошли советские танки. Охрана бежала, переодевшись в гражданское платье. Из дома напротив продолжали стрельбу автоматчики «СД». Одной из очередей убило 16-летнего Леню из Тосно: пуля попала прямо в сердце. В дом ворвались наши бойцы и уничтожили автоматчиков.

Во двор въехал советский танк, и офицер-танкист крикнул: — Товарищи, свобода! Что тут поднялось! Все, кто мог двигаться, высыпали во двор, обнимали и целовали бойцов. Плакали от счастья и мы, и солдаты — Свобода!

А 9 мая мы уже ехали по Гитлерштрассе, через Бранденбургские ворота, к советской границе. В г. Котбусе проходили проверку на фильтрационном пункте НКВД, затем эшелон нас отправили на Родину.

И вот мы в Гатчине: я, Валя, отец и бабушка. Но комната наша на Госпитальной, 26 оказалась занятой другими людьми, и было неизвестно, жива ли мама...

Папа хотел вернуться на свой Кировский завод, но узнав, что он находился в германском плену, его на работу не приняли, хотя он был специалистом-формовщиком. Пришлось идти разнорабочим на Гатчинский механический завод. В Гатчине-Варшавской нам дали комнатку, и мы с сестрой пошли в школу.

Прошел год. Однажды весенним утром вдруг раздался стук в окно, и родной мамин голос спросил: — Москалец здесь живут?

Что тут поднялось! Мы в суматохе не сразу нашли одежду, смеялись и прыгали от радости.

Оказывается, мама была узницей фашистского концлагеря Равенсбрюк (№ 83875), а после освобождения долго лечилась от дистрофии. Находясь в госпитале, она все время посылала запросы о нас. Наконец ей сообщили наш адрес — и вот она дома!

Жизнь понемногу налаживалась. Помимо школы я занималась хореографией в Доме пионеров и мечтала стать балериной. Мне дали рекомендательное письмо в хореографическое училище, и мы с мамой поехали на улицу Зодчего Росси. Я была полна надежд, но после того, как я заполнила анкету, указав, где была в войну, — мне отказали. Балет остался несбыточной мечтой, а я поняла, что о лагере надо молчать.

С тех пор прошло шесть десятилетий, а война все не отпускает. Бессонными ночами события тех лет выстраиваются в ряд, как солдаты в строю.

Часто вижу себя в Берлине, в мрачном доме на Курфюрстенштрассе, 25. Вот я вхожу под узкую арку двора, вымощенного булыжником, иду к каштанам на



Н. П. Соколова (Москалец) с отцом и сестрой. Берлин, 1945 г.



Н. П. Соколова у ворот лагеря, 2005 г.

Лёнину могилу, затем медленно поднимаюсь по лестнице на последний этаж... Там не было радости, но отчего-то тянет побывать в тех местах.

Как ни удивительно, но это желание сбылось. Неожиданно в декабре 2006 года я получила приглашение на встречу узников концлагеря Равенсбрюк, где когда-то содержалась моя мама. Приехали люди, бывшие в то время детьми и подростками. Они рассказывали жуткие вещи: как новорожденных топили в ведрах, словно котят, как стерилизовали девочек...

Одна женщина с Украины рассказала удивительную историю. Она уже лежала на операционном столе, и вдруг встретилась взглядом с немкой-врачом. Видно, чем-то она затронула ее сердце, потому что докторша вдруг ударила ее с размаху по мягкому месту и велела быстрее уходить. Вот такая загадка войны...

Другая поведала, как долгие годы разыскивала после войны

свою мать и в конце концов нашла ее, но та отказалась ее признать...

А брат и сестра из Белоруссии обрели друг друга через 60 лет безуспешных поисков на Родине!

Я с маминой фотографией в руках обошла все уголки бывшего лагеря, и как будто окунулась в атмосферу тех страшных лет. Очень хотелось побывать в «своем» лагере в Берлине, но я уже смирилась с мыслью, что это невозможно.

И вдруг вечером, на симфоническом концерте, ко мне неожиданно подошла молодая немка по имени Зигрид и спросила, когда я хочу поехать в Берлин.

Я вскочила с места, прижала к груди руки, чтобы унять сердцебиение, и, не раздумывая, ответила по-русски:

— Доченька, сейчас!

Мы сели в ее машину и поехали. В моей памяти сами собой возникали полузабытые немецкие слова, и я смогла рассказать Зигрид о своей семье и лагере.

Въехав в Мариендорф, мы вышли из машины, купили красные розы и пешком пошли по Курфюрстенштрассе. Я помнила, что рядом с лагерем находились кинотеатр, пекарня и магазин, но более всего надеялась на свое сердце — оно должно было подсказать место, где мы обитали. Так и получилось. Мы остановились перед аркой 5-этажного дома. По случаю воскресного дня ворота оказались закрыты. На стене висела медная вывеска с надписью: «Институт внешних

сношений под эгидой Юнеско». На фасаде еще сохранились щербинки — следы от пуль.

Я подошла к воротам и сквозь прутья решетки положила цветы на булыжники двора. Я встала на колени и мысленно поднялась по лестнице на последний этаж. Вошла в проходную комнату с нарами в 6 рядов, на которых сидели безмолвные люди. По ним ползали вши. Обойдя их, я будто бы вошла в нашу бывшую комнату, «увидела» большое окно с наклеенными бумажными полосками и три пары нар, покрытых тощими вонючими матрацами. На одних спали мы с Валей, на других — родители, на третьих — бабушка с дедушкой. За длинным столом «сидели», как и прежде, наши соседи... «Побывав» в своей комнате, я снова спустилась во двор, «прошла» по плацу, где слева росло одинокое дерево, возле которого случайный фотограф снял нас в марте 45-го года. А в глубине, должно быть, еще растут каштаны, под которыми похоронен Лёня из Тосно.

Этим вечером я снова была с ними — мертвыми и живыми...

Из документов немецкой комендатуры

Постановление*

Спекулятивная торговля съестными продуктами и др. предметами первой необходимости привела к такому повышению цен, что широкие массы населения не в состоянии их приобрести.

П р и к а з ы в а ю: цены на съестные продукты первой необходимости довести до цен довоенного времени. Ручная торговля вне ларьков и магазинов воспрещена. Противодействующие вышеуказанному постановлению будут наказываться арестом, денежным штрафом и смертной казнью в особо тяжелых случаях.

*Красногвардейск, 27.05.42 г.
Комендант города м-р Вегенер*

* ЦГА, ф. 3355, оп. 13, д. 16.

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН*

А. Г. ГРИГОРЬЕВА,

1932 г. р., жительница поселка Тайцы

БОЛЬШЕ НЕ ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ...

Мы и до войны жили в Тайцах — на улице Пушкина, дом 18. Отец, Иван Григорьевич, работал в Гатчинском райкоме партии, мама — на фармацевтической фабрике. У меня были 2 старшие сестры, брат, а 8 июня 1941 года родилась еще сестричка Галя.

О войне узнали из речи В. М. Молотова, передававшейся по радио. Отец сразу сказал:

— Мать, собери меня, я — в ополчение.

Молодежь организовала дежурства в поселке, и я слышала, как старшая сестра Лена шептала отцу, что уже 22 июня в Тайцах поймали парашютиста-диверсанта. Потом начались бомбежки. И Лена вместе с другими комсомольцами выносила и эвакуировала раненых. Через поселок, к Пулкову, тянулись наши отступающие части...

11 сентября мама вышла из дома и попятилась: во дворе, на окопе, сидел немец.

Мне было 8 лет, и фашистов я представляла такими, какими их изображали на плакатах: в виде рогатых и хвостатых чертей. Когда на пороге появился немецкий солдат в шинели, пилотке, с автоматом, я шепотом спросила сестру Юлю:

— А где же у него хвост?

Всех жителей собрали у железнодорожного магазина: объявить о новом порядке. К маме подошла соседка Зоя Семеновна и сказала:

— Вот, твоя дочка агитировала идти в ополчение, а тут и наши пришли! «Нашими» она считала гитлеровцев...

Маму, как жену коммуниста, выдали сразу. Ночью за ней пришли жандармы и вместе с парторгом Юлией Михайловной, комсомолкой Людочкой и курьером поселкового совета тетей Шурой заперли на трое суток в ледник. У мамы все допытывались:

— Где муж? Где дочка?

Она отвечала одно:

— На фронте...

Избитую, ее все же отпустили, а остальных расстреляли.

Сосед наш, Зимин, постоянно напоминал нам, кто мы такие:

— Вы же коммунисты! Захочу — всех расстреляют!

И забирал у нас в качестве платы за молчание то будильник, то детские ботинки...

А мы уже голодали: ведь жили в жактовской квартире, не имели ни огорода, ни скотины. Мама ездила с тачкой по деревням и меняла вещи на продукты.

* Ныне — Гатчинский.

За новую Ленину шубку и велосипед дали по ведру картошки, а за комод — лишь ободранную конскую шкуру. Мы нарезали ее на кусочки и варили суп.

Снег в 1941 году выпал рано, уже в октябре, и немцы приказали жителям расчищать дорогу к Можайской: на Ленинград шли вражеские танки.

Старостой в Тайцах стал Иков — хмурый нелюдимый мужик с нашей улицы. По вечерам он обходил дома и предупреждал, чтобы все выходили на работу, даже шестилетние.

Мне исполнилось восемь, но была я маленькая, худенькая, едва поднимала огромную лопату. Надсмотрщиком над нами поставили Макса — высокого злобного немца. Размахивая на морозе руками, он все повторял:

— Ленинград капут! Ленинград капут!

Однажды я не выдержала и выкрикнула:

— Тебе капут! А Ленинград наш, там мой папка!

— Швайне! — заорал Макс и выхватил лопату. От удара я упала, а он начал так колотить меня ногами, что я отлетала как футбольный мяч, и из горла хлынула кровь. Наверное, навсегда бы осталась на дороге, если б не случай.

Мимо проезжал комендант. Он приказал остановиться, вышел из машины и закричал на Макса. Даже сорвал с него погоны, а меня поднял на руки и положил в машину.

Домой меня привезли лилово-черную как головешка. Собрались соседки-старушки, стали причитать:

— Моли Бога, Мотенька, чтоб скорей прибрал!

Сестренка Юля возмутилась:

— Рано отпеваετε! Она вас переживет!

Прогнала старух и не отходила от меня, прикладывая к синякам мокрые тряпки.

Я ничего не ела, и мама пошла по соседям просить молока. Жена Икова держала коз, но за пол-литра молока запросила сто пар веников. Где их зимой возьмешь?

Выручил дедушка Петров. Каждый день приносил нам баночку молока и говорил:

— Матушка, попой молочком, Бог даст, и выживет...

Я и вправду выжила, только кровью долго кашляла.

А вот брата Колю мы потеряли. Кто-то обрезал в Гатчине провода, сказали на него. После Нового года Колю забрали в гатчинский лагерь военнопленных, и вскоре пришло извещение, что он расстрелян «за диверсионные действия»...

Только я поднялась, снова пошла на работу. Макса уже не было. Бригадиром стал пожилой усатый немец, неплохо говоривший по-русски. Прозвали его почему-то Мартыном. Он оказался добрым человеком. Когда мы бывали одни, всегда говорил:

— Отдыхайте, отдыхайте...

Еще стояли морозы, а у Мартына вечно был насморк, и баба Лена часто подходила к нему и вытирала нос, чтобы сосульки не намерзали...

Коменданта тоже сменили, и новый оказался гораздо хуже прежнего.

Как-то наш самолет сбросил листовки. Мы выбрали их и читали такие дорогие слова: «Ленинград не сдается!» Старшие девочки — моя Юля, Маша Степанова и другие — разносили листовки по домам. Их выдали. Последовал приказ коменданта: дать им по 25 розог! Что это такое, мы хорошо знали: одного мальчика за буханку хлеба засекли насмерть.

Юля пришла домой с плачем:

— Ой, засекут нас!

Я знала, что розгами наказывают только с 12 лет. Утром встала, оделась и говорю Юле:

— Я пойду за тебя...

За Машу пошла ее шестилетняя сестра Оля. Пришли мы с ней в комендатуру. Новый комендант — высокий, рыжий — спрашивает:

— Вы листовки распространяли?

— Мы только бумажки подбирали, — отвечаем. Комендант видит, что Оля совсем маленькая — отшвырнул ее к порогу, она только нос разбила. А меня как начал трепать за уши да головой об порог — раз, два... На крыльцо швырнул и сапогами под бока так двинул, что кровь из горла пошла...

Ребята с санками во дворе дожидались. Меня на санки положили, кто лепешку сует, кто жмых, а мне рта не раскрыть. Дома уши промыли (надорваны оказались), платочком перевязали: авось срastутся...

Срослись, конечно, уши, но кровью опять долго кашляла.

Когда поправилась, снова погнали на работу. Теперь мы чистили снег у бункеров, где жили немцы. Я ходила на работу в Колиных брюках и ушанке, из-за чего меня принимали за мальчика. Однажды я чем-то привлекла внимание немца, охранявшего бункер.

— Мишка, ком! — позвал он меня. Пришлось идти. Немец привел меня в бункер, усадил за стол и дал полную миску горохового супа со свиными консервами. Да еще кусок хлеба дал. Я хлеб за пазуху спрятала, но он заметил:

— Ешь, ешь, еще дам!

Я поела, поблагодарила:

— Данке шён!

Немец отрезал еще два ломтя хлеба, положил между ними кусок сыра:

— Мамке неси!

На улице ждали ребята:

— Ну, что?

Отдала я им хлеб, каждому досталось по маленькому кусочку...

На следующий день немец опять меня позвал и снова накормил. Так продолжалось несколько дней.

— Когда не будешь здесь работать, приходи за супом, — сказал на прощанье. Я приходила и получала баночку супа и кусок хлеба.

Наконец наступила весна. Однажды, в теплый солнечный день, я пришла к бункеру в летнем платье, с бантиком в волосах. Мой немец всплеснул руками:

— Ой, Мишка-Мишка! Здесь Машка, а я думал — Мишка!

Летом мы дробили на дороге бут. До войны в Тайцах работала плитоломка, теперь же мы разбивали тяжелые глыбы известняка вручную — молотками. Надсмотрщик был злой, не выпускал из рук плетки. От голода — питались веде одной травой — многие страдали поносами и часто бегали в кусты. Одну женщину, тетю Тину, надсмотрщик так избил, что она и скончалась в кустах...

В другой раз мы, голодные, украли в поле турнепс. Хозяйка-финка пожаловалась бригадирю. Он начал нас хлестать плеткой, но из проезжавшей по дороге машины вдруг вышел шофер и остановил порку.

— Дети же хотят есть! — разобрали мы в его выкриках.

Еще в 1941 году в Тайцах появился лагерь наших военнопленных. Вначале они жили на голом поле, оцепленном колючей проволокой. Потом сколотили

три барака. Оборванные, грязные, голодные, пленные производили жуткое впечатление. Мы собирали по чердакам старую одежду и бросали им через забор. Охранников мы хорошо изучили: одни орали и замахивались на нас, другие как бы не замечали.

Пленные научились делать игрушки. Вырежут, например, из фанеры курочек и прикрепят их к дощечке. Дернешь снизу за нитку — куры кланяются, будто зерно клюют. Узники передавали нам готовые игрушки, а мы меняли их у немцев на хлеб.

— Айн брот! — говорим и протягиваем игрушку. Солдаты смеялись и кидали нам в торбу куски хлеба, сыр, конфеты. Как ни голодны мы были, но себе ничего не брали: пленным приходилось намного хуже, чем нам. Толстые-претолстые, с черными заросшими лицами, они едва волочили отмороженные ноги в деревянных колодках. Запомнился пленный дядя Коля, повторявший:

— Не верьте немцам, мы все равно победим!

Так же писали и в листовках, которые сбрасывали наши самолеты. Однажды немцы подбили советский самолет, он упал в торф. Летчик остался жив, и его заперли в одноэтажном доме на улице Юного Ленинца. Мы с Валею Мишаченковой заглянули в окно и увидели пленного летчика с забинтованной головой. Из дома вышел немецкий офицер и спустил на нас собаку. Огромная, как теленок, овчарка свалила меня на землю, в клочья изодрала пальто, но саму не тронула. Страху-то я, конечно, натерпелась, и ночью случилось что-то вроде нервной горячки: температура 40°, бред. Мама испугалась, пошла просить помощи в немецкий госпиталь. Там работала медсестрой Фруза Куделинская, учившаяся до войны вместе с Леной. Она привела ко мне врача-немца. Он дал какие-то порошки. Жар прошел, но долго я еще вздрагивала по малейшему поводу и не могла бегать — кололо сердце.

Есть было по-прежнему нечего. Мы не имели ни земли, ни семян, не могли посадить огород. Только собирали траву, и мама пекла лепешки, подсыпая к толченой траве опилки. Ходили опухшими, с огромными животами. Получше жили те, у кого были собственные дома с земельными наделами, например, финны. У них дети ходили в школу, и немцы их на работу не гоняли. Финские дети смеялись над нами и по-всякому обзывали.

У нас умерла годовалая Галя. Не в чем было хоронить: как мама ни просила соседей, никто не хотел сколотить гробик. Помог батюшка: принес на плече аккуратный желтенький гробик, отпел сестру и сам похоронил.

Вскоре со мной случилась беда. Работали мы на дороге, а к Ленинграду шли танки. По одной стороне — танки, по другой — обоз. Все успели отбежать, а у меня шнурок на ботинке развязался. Я замешкалась и оказалась перед танком. Прижалась к заборчику и замерла от ужаса: танк шел прямо на меня. Я бросилась наперерез и от танка увернулась, но угодила под обоз. Сколько мне телег проехало — сказать не могу. Помню только, что очнулась в госпитале, куда меня принесли старшие ребята. Обе ноги оказались раздробленными. Наложили гипс, отвезли домой. Сначала я не чувствовала боли, зато потом — не могла пошевелиться. Бомбежка, обстрел, мама тащит меня в окоп, а я кричу:

— Мамочка, милая, оставь меня, ради бога, я больше не хочу жить!

Правда, было так больно и так я устала от всего, что жить уже не хотелось.

Однако поправилась. Сперва ползала, потом встала на костыли, которые мне выдали в госпитале.

Шел уже 1943 год. Началось наше наступление, и немцы стали угонять жителей на запад. Погрузили нас в товарные вагоны, везли трое суток, не кормили и дверей не открывали. Некоторые задохнулись и умерли.

Высадили на станции Бикеты в Латвии и продали как рабов богатым хуторянам: по 4 марки за человека. У наших хозяев было 28 коров, 30 поросят, 100 овец. Хозяйка — Ольга Петровна — оказалась доброй женщиной, а хозяин, хоть и бывший батрак, очень злой. Ходил всегда с плеткой и, чуть что, бил батраков. Кроме нас, здесь работали две польские семьи: Ева с Томасом, Катя с Антоном. Им платили за работу, нам — нет. Кормили же всех одинаково. Утром — кофе из цикория, яйцо, хлеб с топленным салом, в обед — картошка с подливой, вечером — путра (каша) со шкварками. Мы сначала никак не могли наесться. Хозяйка боялась, что мы заболеем, и кормила понемногу каждый час. По субботам в доме пекли булочки, она мне всегда полный подол насыпала.

Хозяйство было большое — 73 гектара земли, выращивали рожь, картошку. Я ухаживала за коровами, научилась доить и доила пять коров. Однажды бык сломал загородку, рванулся к корове и опрокинул ведро с молоком, которое я успела надоить. Хозяин накинулся на меня с плеткой, но Ольга Петровна заступилась.

В другой раз я пасла коров в поле. Вдруг началась сильная гроза. Коровы разбежались. Хозяин гнался за мной на лошади, размахивал плеткой и кричал: — Убью!

Я спряталась под мостиком и до ночи не вылезала.

В августе 1944 года немцы приказали всем русским явиться в волость для отправки в Германию. Мама с Юлей пошли без меня, пообещав: «Мы постараемся убежать и вернемся к тебе». Но убежать они не смогли, а вскоре и мне пришла повестка. Хозяйка дала на дорогу хлеба, яиц, сала, и я отправилась в волость. Это была Яунпилсская волость Тукумского уезда. Русских собралась огромная толпа. Нас пересчитали и под конвоем погнали на запад.

Сентябрь, льет холодный дождь, мы бредем по раскисшим дорогам все дальше и дальше от дома. Нас совсем не кормят. Ночуем где придется: то в какой-нибудь конюшне, то в скирдах соломы в чистом поле.

Детей много, но другие с родителями, а я одна как перст. Припасы свои съела, что дальше делать — ума не приложу. Спрячусь за стогом и плачу. Была б рядом речка — утопилась бы, кажется...

Охрану ночью не выставляли: немцы с вечера пересчитывали нас и стращали, что если один уйдет — всех расстреляют! Я заметила невдалеке хутор и решила туда сходить. Хозяева — пожилые люди — оказались добрые. Покормили и с собой дали. Я спрятала еду в стог и зареклась есть понемногу, чтобы дольше хватило. Утром, когда все завтракали, достала и я хлеб и кусочек сала.

— Смотрите, она у кого-то украдала! — вдруг закричала монашка, находившаяся среди узников. И принялась меня бить. К ней присоединился один дядька, он колотил тяжелым кулаком и приговаривал:

— Будешь знать, как воровать!

Я рыдала и не могла слова вымолвить: обиднее всего, когда бьют ни за что, да еще свои...

От соседнего стога прибежала новгородская женщина тетя Нюра и отняла меня. У нее было два сына: 15-летний Боря и Миша 13-ти лет.

— Будешь третьей, — сказала тетя Нюра, и я пошла с ними. Вместе ели, вместе спали на одном одеяле.

Привезли нас на хутор Гривенки, где хозяином был высокий красивый латыш Гриша. В баньке у него собирались латышские партизаны. Они говорили: «Нам только советская власть дала жизнь». Об этом как-то узнали латышские националисты и нагрянули на хутор.

— Всех расстрелять! — кричали. Женщины перепугались, детей за спины прячут. Гриша побежал — его ранили. В стог спрятался — нашли по кровавым следам. Он отстреливался до последнего патрона и застрелился сам. Жену его так били, что она тут же, на снегу, родила мертвого ребенка.

А за нами приехали немцы и увезли в лагерь. Помню, дорогой в фургоне мы пели:

Как умру я, умру я,
Похоронят меня...
И родные не узнают,
Где могилка моя...

Привезли в глухой лес, где за колючей проволокой стояли три барака: № 21, 22 и 23. Началась лагерная жизнь. День начинался с поверки. Мы стояли перед траншеей, и конвойный, пересчитывая узников, толкал каждого рукояткой плетки в грудь. Кто не удерживался и падал — пристреливали и сбрасывали в траншею. Я, чтобы не упасть, всегда становилась впереди какого-нибудь мужчины.

Взрослых гоняли в лес на работу и там кормили обедом — баландой с кусочком хлеба. Я была так мала ростом и худа, что меня на работу не брали и оставляли в лагере, где только вечером выдавали кружку воды, слегка забеленной мукой.

6 мая 1945 года неожиданно выдали вермишелевый суп. Охранники были миролюбивы и повторяли:

— Гитлер капут!

Нас снова погрузили в вагоны и куда-то повезли. 9 мая поезд остановился посреди леса. Дверь открылась, и мы заметили, что охрана исчезла. Вдоль состава бежала женщина в синей юбке и кричала:

— Бабоньки, война кончилась!

Мы не верили и не трогались с места. Одна из узниц покачала головой и проговорила:

— Долго ли умом тронуться?

Мы поверили радостной вести только тогда, когда увидели русских солдат и военных врачей, подошедших к вагонам. Мы все были настолько истощены, что для нас тут же в лесу развернули палаточный госпиталь. Нас вымыли, уложили. Я была так слаба, что не пила и не ела. Помню, как одна молоденькая сестричка все стояла передо мной на коленях и вливала мне в рот сначала кипяченую воду, потом молоко, после — жидкую кашку. Я провела в госпитале все лето, целых три месяца.

И вот наступил, в конце концов, тот счастливый день, когда поезд привез меня в Тайцы. Я бежала мимо кладбища, падала на землю, целовала ее и не верила самой себе:

— Неужели я дома?

Я разыскала маму и Юлю, а вскоре к нам вернулась старшая сестра Лена. Папы уже не было: он умер от ран в ленинградском госпитале. Долго еще мы жили трудно и голодно. Но теперь мы были дома, вместе, и не было вокруг войны. Что может быть дороже?

А. И. МОРОЗОВА (ГУРЬЯНОВА),
1933 г. р., жительница пос. Дивенский

«А ВАША ВЕРА В ПАРТИЗАНАХ...»

Родилась я в деревне Андреевка (ныне Беково), в 5 км от станции Дивенская. Папа Иван Ермолаевич работал лесником, мама Елена Антоновна была инвалидом 2-й группы по болезни сердца. В семье уже росло четверо детей, и когда в 33-м году родилась я и начался голод, брат Федор носил меня по деревне продавать за буханку хлеба. Соседка сказала: «Пусть немного подрастет у вас, тогда я прибавлю еще буханку...»

Мама рассказывала потом, что натрет свеклы, завернет в тряпку и даст мне сосать. Так на свекле я и выросла, до сих пор ее люблю.

В 1935-м папу перевели объездчиком в Дивенский. Его двадцатипятикилометровый участок простирался от Дивенской до Будана — болота за Бековым. Жили мы поначалу в доме лесничего, после перевезли свой дом из деревни. Помню, как переезжали на лошадях, и я просила: «Папа, давай соберем чугуны и поедem обратно!»

Зарплата объездчика составляла всего 147 рублей, но предоставлялась лошадь, покос в два гектара, огород 15 соток и участок в лесном массиве, где разрешалось сажать картошку. У нас была хорошая корова Верба, овцы, куры, мы уже не голодали, но каждая копейка была на счету, и конфеты, к примеру, были недоступной роскошью. Трудились все сызмалства: и косить, и доить — всё умели.

За хорошую работу папу в мае 1941 года наградили шубой на меху и занесли на Доску почета Красногвардейского лесхоза.

Построились мы в Новом переулке, который в быту почему-то называли Петушиным Коленом. Дивенский был большим поселком в 209 домов по обе стороны одноколейной железной дороги. Поезда из Ленинграда ходили только до Дивенской — здесь был оборотный пункт. На станции находился двухэтажный кирпичный вокзал, рядом — водокачка. Многие из жителей работали на железной дороге. Сестра Вера служила дежурной по станции и была избрана депутатом сельсовета. В поселке были почта, клуб, школа-десятилетка.

Началась война, и жизнь круто переменялась. У нас покрывали крышу в сарае, когда мужу старшей сестры Марии — офицеру запаса Сергею Андреевичу Кузьмину — принесли повестку в армию. На руках у Марии остался 6-месячный сын Боря. А мне, собиравшейся в первый класс, пришлось надолго забыть о школе.

Немцы быстро продвигались к нашим местам. Председатель сельсовета Федоров посоветовал Вере снять свою фотографию с Доски почета. А вскоре Вера с другими железнодорожниками ушла болотами в Ленинград.

Хорошо зная лес, папа выбрал место для окопа и увез нас за Шилову горку. Он надеялся, что немцы не одолеют Лужский рубеж.

Но наши уже отступали. Один командир выводил из окружения танки и показывал папе карту, где была обозначена шоссе́нная дорога. Папа объяснял, что никакой дороги там нет — одно болото. Командир сказал: «Старик, если ты врешь, я вернусь и тебя расстреляю!» Папе не поверили, и танки затонули в болоте между Дивенской и Низовской. Их всосала земля — они до сих пор там.



И. Е. Гурьянов, 1941 г.



Знак объездчика

Вскоре вокруг нашего окопа разразилась перестрелка. Было непонятно, где наши, а где немцы. В результате немцы обошли наших, и бой произошел между своими. В лесу остались убитые и раненые.

26 августа в Дивенскую вошли немцы. Они пришли со стороны Гатчины и выгнали жителей из леса. Мужчин закрыли в пакгаузе на станции, а женщин с детьми отправили по домам. Папу вскоре выпустили, но злые языки наговорили, что наша Вера в партизанах, и немцы установили за нами слежку. Увидели тропу из леса, протоптанную к нашему дому, и решили казнить папу. Два офицера заставили его наносить сучьев и разжечь костер. Собрали людей и поставили папу перед костром. Меня женщины спрятали, а мама упала в обморок. Вдруг прибежал какой-то немец в плащ-палатке, что-то прокричал, и все немцы убежали, оставив папу возле костра.

После этого мама слегла. Я ухаживала за ней, а когда ей становилось совсем плохо, бежала за врачом. Наша доктор Нина Федоровна Пизель никогда не отказывала: хоть в 3 часа ночи постучишь — она сумку на плечо и идет. Помогала всем абсолютно, не допускала, чтобы тиф из лагеря перекинулся в поселок, а после освобождения ее попрекали службой у немцев и долго не разрешали работать в ею же организованной больничке на 12 мест.

Начался голод, и я с ребятами ходила к поездам просить милостыню: к Ленинграду все шли и шли эшелоны с немецкими солдатами. Иногда из вагонов нам выбрасывали, как собакам, объедки. Я все приносила маме, а сама уже была не в силах достать воды из колодца. Однажды пошла за водой, опустила в колодец двухлитровый бидон, а поднять его не могла. Стала звать на помощь. Подошел какой-то солдат, вытащил бидон и стал ругаться. Но когда мы вошли в дом и он увидел, что мама лежит больная — замолчал. А вскоре принес свой паек — второе от обеда, который я отдала маме. Тогда он принес еще порцию. Мама спросила: «Что это ты — немец, а даешь нам еду?» Он ответил: «Я — чех, и дома у меня такая же дочка...»

Солдат приходил к нам еще три дня и приносил что-нибудь съестное. Но эта неожиданная помощь скоро закончилась, и я снова пошла на дорогу. Однажды меня чуть не задавило: я не заметила приближающегося поезда. Командант

Папа Рыжий так огрел меня нагайкой, что у меня на всю жизнь осталась на спине вмятина.

Один раз папа принес откуда-то кусочек конины — это было настоящим счастьем. А дядя Ефим Ермолаевич, егерь, нес своим кусочек жмыха, упал, голодный, и умер... Сестра Мария работала на железной дороге, таскала рельсы. Получала мизерный паек, надорвалась и после войны умерла в 47 лет.

Недалеко от нашего дома, в сторону Низовской, находился лагерь советских военнопленных. Они жутко голодали, и мы с ребятами бросали им через забор траву. За это тоже доставалось.

Настала осень, и учительница Мария Григорьевна добилась от властей разрешения начать занятия с первыми-третьими классами в помещении лесничества. Математику преподавал Петр Григорьевич. Когда пришли наши, им обоим отказали в работе.

Немцы как-то узнали, что в Шведских горах (отдаленное место в лесу) скрываются партизаны. Лесничий Ахтман велел отцу провести туда солдат. Папа отказался. Ахтман нашел другого проводника, но партизаны успели уйти.

А возле нашего дома поставили охрану с пулеметом. Теперь никто из солдат к нам не смел зайти.

В ноябре 43-го года к дому подъехала машина. Нас выгнали на улицу и отвезли в Рождествено, где загнали в конюшню, полную навоза. Кто-то из жителей бросил в окошечко соломы, и мы смогли лечь.

Потом нас отправили в Гатчину, погрузили в товарные вагоны без нар и повезли на запад. В Волосове нас пытались отбить партизаны, но это им не удалось: в начале и конце состава были вагоны с русскими, в середине — немцы.

Высадили на ст. Пюсси в лютый мороз. Стали приезжать эстонцы с хуторов и выбирать себе работников. Нас никто не брал: кому нужны стар и млад? С нами была бабушка Наталья Николаевна 84 лет, Мария с двухлетним Борей. Самыми последними нас взял к себе один хозяин для охраны дома.

В начале марта 1944 года нас снова посадили в вагоны и привезли в Таллин. Здесь на площади проводили сортировку: одних отводили вправо — для отправки морем в Австрию и Венгрию, других — влево. Мы попали в левую группу. В ночь с 7-го на 8 марта советские самолеты бомбили Таллин. Одна бомба упала на площади, но не взорвалась. После бомбежки нас машинами увезли в концлагерь Пылкулле Хорьювского уезда.

Здесь были собраны гражданские и военнопленные, работавшие в основном на лесозаготовках. Нас поместили в сарай с индюками — их пасли дети. Кормили очень плохо, постоянно хотелось есть. Тетя Уля (жена папиного брата) работала на коптильне и однажды взяла для бабушки две копчущки. Эстонцы ее зверски избили.

Я заболела и не могла ходить. Приезжали немецкие врачи, брали кровь у детей, но у меня не взяли. Один из врачей сказал, что я скоро умру.

Прошел слух, что больных и стариков повезут в Клоогу расстреливать. К счастью, быстрое продвижение наших войск помешало гитлеровцам осуществить это.

23 сентября в Пылкулле вошли советские танки. Офицер-танкист крикнул: — Ребятки, скажите, кто вас обижал, я их застрелю!

Но все молчали, словно в рот воды набрали — боялись. Один танк эстонцы подорвали, а второй протаранил дом, откуда стреляли. Затем танки проследовали на Пярну, а когда возвращались, мы бежали за ними и просили взять с собой. Танкисты отвечали: «Вас скоро повезут домой, а мы — на Берлин!»



Аня Гурьянова с сестрой Верой Ивановной
и соседкой, 1946 г.



Аня Гурьянова (13 лет) и Боря Кузьмин (5 лет),
1946 г.

Нас отвезли на фильтрационный пункт в Клоогу, где совсем недавно был страшный лагерь смерти. Оставляя его, фашисты заживо сжигали узников. Еще догорали костры с останками людей, и казалось, что костры — кричат... Мы видели полусожженную женщину, прижимавшую к себе двоих мертвых детей. Теперь там пляж, и только видевшие весь этот ужас могут рассказать, что там было в войну.

В Клооге мы пробыли с неделю. Брата Тимофея 1924 г. р. оставили служить в МВД Эстонии, а Федора, которому уже исполнилось 18, взяли в армию.

Вскоре нас отправили на родину.

В Гатчине нас встретила Вера, все 900 дней блокады пережившая в Ленинграде. Муж Марии погиб под Сталинградом. Мы вернулись в Дивенскую, но дом наш сгорел и пришлось жить в землянке. Меня, страдавшую сплошным фурункулезом, сразу отправили в больницу, долго лечили, и осенью я смогла пойти в школу.

Носить было нечего, и тетя Дуня из Тозырева отдала байковое одеяло, из которого мне сшили пальто, а учительница подарила собачий воротник.

Я успешно закончила семилетку и пыталась поступить в техникум зеленого строительства, мечтая выращивать цветы. Меня не приняли по анкетным данным: была в лагере. Вера, по-прежнему работавшая на железной дороге, помогла устроиться в дорожно-техническую школу. Только скрыв свое лагерное прошлое, я закончила эту школу и работала потом билетным кассиром на ст. Сортировочная, дослужившись до заведующей кассами.

